

Некрещеный поп

Автор:

Николай Лесков

Некрещеный поп

Николай Семёнович Лесков

«Эта краткая запись о действительном, хотя и невероятном событии посвящается мною досточтимому ученому, знатоку русского слова, не потому, чтобы я имел притязание считать настоящий рассказ достойным внимания как литературное произведение...»

Николай Лесков

Некрещеный поп

Невероятное событие

(Легендарный случай)

Посвящается Федору Ивановичу Буслаеву

Эта краткая запись о действительном, хотя и невероятном событии посвящается мною досточтимому ученому, знатоку русского слова, не потому, чтобы я имел притязание считать настоящий рассказ достойным внимания как литературное произведение. Нет; я посвящаю его имени Ф. И. Буслаева потому, что это оригинальное событие уже теперь, при жизни главного лица, получило в народе характер вполне законченной легенды; а мне кажется, проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, «как делается

история».

I

В своем приятельском кружке мы остановились над следующим газетным известием:

«В одном селе священник выдавал замуж дочь. Разумеется, пир был на славу, все подпили порядком и веселились по-сельскому, по-домашнему. Между прочим, местный диакон оказался любителем хореографического искусства и, празднуя веселье, „веселыми ногами“ в одушевлении отхватал перед гостями трепака, чем всех привел в немалый восторг. На беду на том же пиру был благочинный, которому такое деяние диакона показалось весьма оскорбительным, заслуживающим высшей меры взыскания, и в ревности своей благочинный настроил донос архиерею о том, как диакон на свадьбе у священника „ударил трепака“. Архиепископ Игнаний, получив донос, написал такую резолюцию:

„Диакон N 'ударил трепака'...

Но трепак не просит;

Зачем же благочинный доносит?

Вызвать благочинного в консисторию и допросить“.

Дело окончилось тем, что доноситель, проехав полтора верста и немало израсходовав денег на поездку, возвратился домой с внушением, что благочинному следовало бы на месте словесно сделать внушение диакону, а не заводить кляуз из-за одного- и притом исключительного случая».

Когда это было прочитано, все единогласно поспешили выразить полное сочувствие оригинальной резолюции пр. Игнатия, но один из пас, г. Р., большой знаток клирового быта, имеющий всегда в своей памяти богатый запас анекдотов из этой своеобразной среды, вставил:

– Хорошо-то это, господа, пускай и хорошо: благочинному действительно не следовало «заводить кляуз из-за одного, и притом исключительного случая»; но случай случаю рознь, и то, что мы сейчас прочитали, приводит мне на память другой случай, донося о котором, благочинный поставил своего архиерея в гораздо большее затруднение, но, однако, и там дело сошло с рук.

Мы, разумеется, попросили своего собеседника рассказать нам его затруднительный случай и услышали от него следующее:

– Дело, о котором по вашей просьбе надо вам рассказывать, началось в первые годы царствования императора Николая Павловича, а разыгралось уже при конце его царствования, в самые суматошные дни наших крымских неудач. За тогдашними, большой важности, событиями, которые так естественно овладели всеобщим вниманием в России, казусное дело о «некрещеном попе» свертелось под шумок и хранится теперь только в памяти остающихся до сих пор в живых лиц этой замысловатой истории, получившей уже характер занимательной легенды новейшего происхождения.

Так как дело это в своем месте весьма многим известно и главное лицо, в нем участвующее, до сих пор благополучно здравствует, то вы должны меня извинить, что я не буду указывать место действия с большою точностию и стану избегать называть лица их настоящими именами. Скажу вам только, что это было на юге России, среди малороссийского населения, и касается некрещеного попа, отца Саввы, весьма хорошего, благочестивого человека, который и до сих пор благополучно здравствует и священствует и весьма любим и начальством и своим мирным сельским приходом.

Кроме собственного имени отца Саввы, которому я не вижу нужды давать псевдоним, все другие имена лиц и мест я буду ставить иные, а не действительные.

II

Итак, в одном малороссийском казачьем селе, которое мы, пожалуй, назовем хоть Парипсами, жил богатый казак Петро Захарович, по прозвищу Дукач. Человек он был уже в летах, очень богатый, бездетный и грозный-прегрозный.

Не был он мироедом в великорусском смысле этого слова, потому что в малороссийских селах мироедство на великорусский лад неизвестно, а был, что называется, дукач – человек тяжелый, сварливый и дерзкий. Все его боялись и при встрече с ним открещивались, поспешно переходили на другую сторону, чтобы Дукач не обругал, а при случае, если его сила возьмет, даже и не побил. Родовое его имя, как это нередко в селах бывает, всеми самым капитальным образом было позабыто и заменено уличною кличкою или прозвищем – «Дукач», что выражало его неприятные житейские свойства. Эта обидная кличка, конечно, не содействовала смягчению нрава Петра Захарыча, а, напротив, еще более его раздражала и доводила до такого состояния, в котором он, будучи от природы весьма умным человеком, терял самообладание и весь рассудок и метался на людей, как бесноватый.

Стоило завидевшим его где-нибудь играющим детям в перепуге броситься вроссыпь с криком: «ой, лышенько, старый Дукач иде», как уже этот перепуг оказывался не напрасным: старый Дукач бросался в погоню за разбегающимися ребятишками со своею длинною палкою, какую приличествует иметь в руках настоящему степенному малороссийскому казаку, или с случайно сорванною с дерева хворостиною. Дукача, впрочем, боялись и не одни дети; его, как я сказал, старались подальше обходить и взрослые, – «абы до чего не причепывся». Такой это был человек. Дукача никто не любил, и никто ему не сулил ни в глаза, ни за глаза никаких благожеланий, напротив, все думали, что небо только по непонятному упущению коснит давно разразить сварливого казака вдребезги так, чтобы и путроха его не осталось, и всякий, кто как мог, охотно бы постарался поправить это упущение Промысла, если бы Дукачу, как назло, отсюда незримо «не перло счастье». Во всем ему была удача – все точно само шло в его железные руки: огромные стада его овец плодились, как стада Лавановы при досмотре Иакова. Для них уже вблизи и степей недоставало; полтвые круторогие волы Дукача сильны, росли и тоже чуть не сотнями пар ходили в новых возах то в Москву, то в Крым, то в Нежин; а пчелиная пасека в своем липняке, в теплой запуши была такая, что колодки надо было считать сотнями. Словом, богатство по казачьему званию – несметное. И за что все это бог дал Дукачу? Люди только удивлялись и успокоивали себя тем, что все это не к добру, что бог, наверное, этак «манит» Дукача, чтобы он больше возвеличался, а потом его и «стукнет», да уж так стукнет, что на всю околицу слышно будет.

Ждали добрые люди этой расправы над лихим казаком с нетерпением, но годы шли за годами, а бог Дукача не стучал. Казак все богател и кичился, и ниоткуда ничто ему достойное его лютовства не угрожало. Общественная совесть была сильно смущена этим. Тем более что о Дукаче нельзя было сказать, что ему

отплатится на детях: детей у него не было. Но вот вдруг старая Дукачиха стала чего-то избегать людей, – она конфузилась, или, по-местному, «соромылась» – не выхолила на улицу, и вслед за тем по околице разнеслась новость, что Дукачиха «непорожня».

Умы встрепенулись, и языки заговорили: давно утомленная ожиданием общественная совесть ждала себе близкого удовлетворения.

– Що то буде за дитына! що то буде за дитына антихристова? И чи воно родыться, чи так и пропаде в животи, щоб ему не бачыть билого свиту!

Ждали этого все с нетерпением и, наконец, дождались: в одну морозную декабрьскую ночь в просторной хате Дукача, в священных муках родового страдания, явился ребенок.

Новый жилец этого мира был мальчик, и притом без всякого зверовидного уродства, как хотелось всем добрым людям; а, напротив, необыкновенно чистенький и красивый, с черною головкою и большими голубыми глазками.

Бабку Керасиху, которая первая вынесла эту новость на улицу и клялась, что у ребенка нет ни рожков, ни хвостика, оплевали и хотели побить, а дитя все-таки осталось хорошенькое-прехорошенькое, и к тому же еще удивительно смиренное: дышало себе потихонечку, а кричать точно стыдилось.

III

Когда бог даровал этого мальчика, Дукач, как выше сказано, был уже близок к своему закату. Лет ему в ту пору было, может быть, более пятидесяти. Известно, что пожилые отцы горячо принимают такую новость, как рождение первого ребенка, да еще сына, наследника имени и богатства. И Дукач был этим событием очень обрадован, – но выражал это, как позволяла ему его суровая натура. Прежде всего он призвал к себе жившего у него бездомного племянника по имени Агапа и объявил ему, чтобы он теперь уже не дул губу на дядино наследство, потому что теперь уже бог послал к его «худоби» настоящего наследника, а потом приказал этому Агапу, чтобы он сейчас же снарядился в

новый чепан и шапку и готовился, чуть забрезжит заря, идти с посылом до заезжего судейского паныча и до молодой поповны – звать их в кумовья.

Агапу тоже уже было лет под сорок, но он был человек загнанный и смотрел с виду цыпленком с зачичкавшеюся головенкою, на которой у него сбоку была пресмешная лысина, тоже дело руки Дукача.

Когда Агап в отрочестве осиротел и был взят в Дукачев дом, он был живой и даже шустрый ребенок и представлял для дяди ту выгоду, что знал грамоте. Чтобы не кормить даром племянника, Дукач с первого же года стал посылать его со своими чумаками в Одессу. И когда Агап один раз, зозвратясь домой, сдал дяде отчет и показал расход на новую шапку. Дукач осердился, что тот смел самовольно сделать такую покупку, и так жестоко побил парня по шее, что она у него очень долго болела и потом навсегда немножко скосбочилась; а шапку Дукач отобрал и повесил на гвоздь, пока ее моль съест. Кривошей Агап ходил год без шапки и был у всех добрых людей «посмихачем». В это время он много и горько плакал и имел досуг надуматься, как помочь своей нужде. Сам он уже давно отупел от гонений, но люди наговорили ему, что он мог бы с своим дядьком справиться, только не так просто, через прямоту, а через «полытыку». И именно через такую политику, тонкую, чтобы шапку купить, а расход на нее не показывать, а так «расписать» те деньги где-нибудь понемножечку, по другим статьям. А ко всему этому на всякий случай, идучи к дяде, взять самое длинное полотенце да в несколько раз обмотать им себе шею, чтобы если Дукач станет драться, то не было бы очень больно. Агап взял себе на ум эту науку, и вот через год, когда дядя погнал его опять в Нежин, он ушел без шапки, а вернулся и с отчетом и с шапкою, которой ни в каких расходах не значилось. Дукач спервоначала этого и не заметил и даже было похвалил племянника, сказав ему: «Треба б тебе побиты, да ни за що». Но тут бес и дернул Агапа показать дядьку, как несправедлива на свете человеческая правда! Он попробовал, хорошо ли у него намотано на шее длинное полотенце, которое должно было служить для его политических соображений, и, найдя его в добром порядке, молвил дяде:

– Эге, дядьку, добре! ни за що биты! Ось така-то правда на свити?

– А яка ж правда?

– А ось яка правда: выбачайте, дядьку. – И Агап, щелкнув по бумажке, сказал: – нема тут шапки?

- Ну, нема, - отвечал Дукач.

- А от же и есть шапка, - похвалился Агап и насадил набекрень свою новую франтовскую шапку из решетилловских смушек.

Дукач посмотрел и говорит:

- Добра шапка. А ну, дай и мени помирять.

Надел на себя шапку, подошел к осколку зеркальца, вправленному в досточку, оклеенную яркою пестрою бумажкой, тряхнул седою головой и опять говорит:

- А до лиха, бачь и справди така добрая шапка, що хоть бы и мени, то было б добре в ни ходыти.

- А ничего соби, добре б було.

- И де ты ии, вражий сын, украв?

- Що вы, дядьку, на що я буду красты! - отвечал Агап. - Нехай от сего бог боронить, я зроду не крав.

- А де ж ты ии ухопыв?

Но Агап ответил, что он совсем шапки не хапал, а так себе, просто ее достал через полытыку.

Дукачу это показалось так смешно и невероятно, что он рассмеялся и сказал:

- Да ну, годи вже тебе дурню: де таки тоби робить полытыку?

- А от же и сробыв.

- Ну, мовчи.

- Ей-богу, уделал.

Дукач только молча погрозил ему пальцем: но тот стоит на своем, что он «попытыку уделал».

– И де в черта, та пыха у тебя взялась в голове, – заговорил Дукач, – да же сему дилу быть, щобы ты, такой сельский квак, да в Нежине мог пыпытыку делать.

Но Агап стоял на своем, что он действительно уделал пыпытыку.

Дукач велел Агапу сесть и все как есть про сделанную им политику рассказывать, а сам налил себе в плошку сливяной наливки, запалил люльку и приготовился долго слушать. Но долго слушать было нечего. Агап повторил дяде весь свой отчет и говорит:

– Нема тут шапки?

– Ну, нема, – отвечал Дукач.

– А вот же тут и есть шапка!

И он открыл, что именно, сколько копеек и в какой расходной статье им присчитано, и говорил он все это весело, с открытою душою и с полною надеждою на туго намотанное на шее полотенце; но тут-то и случилась самая непредвиденная неожиданность: Дукач, вместо того щобы побить племянника по шее, сказал:

– Ишь ты и справди якый пыпытык: украв, да и шию закрутив, щоб не больно було. Ну так я же тоби дам другую пыпытыку, – и с этим он дернул клоч волос, замерший у него в руке.

Так кончилась эта политическая игра дяди с племянником и, сделавшись известной на селе, укрепила за Дукачом еще более твердую репутацию, что этот человек «як каминь» – ничем его не возьмешь: ни прямою, ни политикою.

Дукач всегда жил одиноко: он ни к кому не ходил, да и с ним никто не хотел близко знаясь. Но Дукач об этом, по-видимому, нимало и не скорбел. Может быть, ему это даже нравилось. По крайней мере он не без удовольствия говаривал, что в жизнь свою никому не кланялся и не поклонится – и случая такого не чаял, который мог бы заставить его поклониться. Да и в самом деле и из-за чего он стал бы кого-нибудь заискивать? Волы и всякой худобы много; а если этим бог накажет, – волы поубаюют или что пожаром сгорит, так у него вволю и земли и лугов – все в порядке, все опять снова уродится, и он снова разбогатеет. А хоть бы и не так, то он хорошо знал в дальнем лесу один приметный дуб, под которым закопан добрый казанок с старыми рублевыми. Стоит его достать оттуда, так и без всяких хлопот можно целый век жить, и то не прожить. Что же значили ему люди? Детей, что ли, ему с ними крестить, – но у него детей не было. Или для того чтобы утешить свою Дукачиху, которая по бабьей прихоти приставала:

– Что, мол, нас все боятся да нам завидуют – лучше бы сделать, чтобы нас кто-нибудь любить стал.

Но стоило ли это бабье нытье казачьего внимания.

И вот шли годы за годами, пронося над головою Дукача безвредно всякие житейские случайности и невзгоды, а случай, который мог заставить его поклониться людям, все-таки его не облетел мимо: теперь люди ему понадобились, чтобы дитя крестить.

Всякому иному, не такому гордому человеку, как Дукач, это, разумеется, ничего бы не составляло, но Дукачу ходить, звать, да еще упрашивать, было не под стать. Да еще кого звать и кого «упрашивать»? – Уж, разумеется, не кого-нибудь, а самых первых людей: молодую поповну-щеголиху, которая ходила в деревне в полтавских шляпках, да судового паныча, что гостил об эту пору у отца диакона. Положим, это компания хорошая, но что-то страшно: ну как они откажут? Дукач помнил, что ведь не обращал внимания он не только на простых людей, но не уважал и отца Якову, а с диаконом прямо один раз на гребле «бился» за то, что тот, едучи ему навстречу, не хотел с дороги в грязь своротить. Чего доброго, и они этого не позабыли и теперь, – когда гордому казаку пришла в них нужда, – они ему это, пожалуй, и вспомнят. Делать, однако, было нечего. Дукач поднялся на хитрость: избегая самолично встретить отказ, он послал звать кумовьев Агапа. А чтобы и тому было поваднее, снабдил его зваными дарами

деревенского припасения, которые вынул из заветной скрини: панночке высокий черепаховый гребень «с огородом», а панычу золоченую склянку петухом с немецкою подписью. Но все это вышло напрасно: кумовья отказались и даров не приняли; да еще, по словам Агапа, и в глаза ему насмеялись: что, дескать, чего Дукач и заботится: разве детей таких злодеев, как он, можно крестить? А когда Агап заметил, что неужто дитя целую неделю останется не крещено, то будто сам поп – отец Яков прямо пророковал: что не неделю, а целый век ему оставаться некрещеным.

Услыхав это, Дукач сложил правую рукою дулю, сунул ее племяннику в нос и велел поднести это за пророчество отцу Якову. А чтобы Агапу веселее было идти, – повернул его другою рукою и выпроводил по потылице.

V

Агап, разумеется, не считал этого за самый худший исход, какого он мог ожидать за свое неудачное посольство, и, закатясь с дядиных глаз в корчму, успел рассказать бывшее так хорошо, что через полчаса об этом знало все селение, и все, от мала до велика, радовались тому, что отец Яков «в книгах вычитал, як Дукачонку на роду писано остаться некрещеным». И если бы теперь старый Дукач забыл всю свою важность и стал звать последнего из последних на селе, то он наверно бы никого не дозволялся, но Дукач это знал: он знал, что находится в положении того волка, который всем чем-нибудь нагадил, и что ему потому некуда деться и не от кого искать защиты. Он пошел напролом: сунув к носу Агапа дулю, адресованную отцу Якову, он решил обойтись не только без содействия всех своих односельчан, но и без услуг самого отца Якова.

Назло всем, но, может быть, особенно отцу Якову, Дукач решил окрестить сына в чужом приходе, в селе Перегудах, которое отстояло от Парипс не более как на семь или на восемь верст. А чтобы не откладывать спешного дела в долгий ящик, – окрестить сына немедленно, именно нынче же, – чтобы завтра об этом и разговоров не было; а напротив, чтобы завтра же все знали, что Дукач настоящий казак, который никому в насмешку не дается и может без всех обойтись. Кум у него уже был избран – самый неожиданный, – это Агап. Правда, что такой выбор многих мог удивить, но на то у Дукача был отвод: он брал простых кумовьев – «встречных», как на то есть поверье, что таких бог

посылает. Агап и взаправду был первый «встречник», на которого богатый казак на первого взглянул при известии о новорожденном; а первая «встрсчница» была бабка Керасивна. Ее взять в кумы было немножко неловко, потому что Керасивна имела не совсем стройную репутацию: она была самая несомненная ведьма; столь несомненная, что этого не отрицал даже сам ее муж, очень ревнивый казак Керасенко, из которого эта хитрая жинка весь дух и всю его нестерпимую ревность выбила. Обратя его в самого битого дурня, жила она на всей своей вольной воле – немножко шинкуя, немножко промышляя то повитушеством, то продажею паляниц, то, наконец, просто «срывая цветы удовольствий».

VI

Ведьмовство ее знали и стар и мал, – потому что случай, обнаруживший это, был самый гласный и скандальный. Керасивна еще в дивчинах была бесстрашная самовольница – жила в городах и имела какую-то мудреного вида скляницу с рогатым чертом, которую ей подарил рогачевский дворянин с Покоти, отливавший такие чертовщины в соседней гуте. И Керасивна пила себе на здоровье из этой скляницы и была здорова. И, наконец, мало всего этого – она показала самую невозможную отвагу, добровольно согласясь выйти замуж за Керасенка. Этого никто не мог сделать кроме женщины, которая ничего не боится, потому что Керасенко заведомо уже уморил своею ревностью двух жен, и когда нигде в окрестности не мог найти себе третьей, то тогда эта окаянная Христя сама ему набилась и вышла за него, только такое условие сделала, что он ей всегда будет верить. Керасенко на это согласился, а сам думал:

«Дура баба: так я тебе и стану верить! – дай женюсь, – я тебя и на шаг от себя не отпущу».

Всякая бы на месте Христи это предвидела, но эта шустрая дивчина словно оглупела: и не только ничего не побоялась и вышла за ревнивого вдовца, да еще взяла и совсем его переделала, так что он вовсе перестал ее ревновать и дал ей жить на всей ее вольной воле. Вот это-то и было устроено самым коварным ведьмовством и при несомненном участии черта, которого соседка Керасивны, Пиднебесная, сама видела в образе человеческом.

Это было вскоре же после того, как Керасенко женился на бойкой Христе, и хоть тому теперь прошел уже добрый десяток лет, однако бедный казак, конечно, и о сю пору хорошо помнил этот чертовский случай. Было это зимою, под вечер, на праздниках, когда никакому казаку, хоть бы и самому ревнивому, невмочь усидеть дома. А Керасенко и сам «нудил свитом» и жену никуда не пускал, и произошла у них из-за этого баталия, при которой Керасивна сказала мужу:

- Ну, як ты выйшов на своем слове невірний, то я же тебе зроблю лихо.

- Як лихо! як ты мени лихо зробишь? - заговорил Керасенко.

- А зроблю, да и усе тут буде.

- А як я тебе з очей не выпущу?

- А я на тебе мару напущу.

- Як мару? - хіба ты видьма?

- А от побачишь, чи я видьма, чи я ни видьма.

- Добре.

- От побачкшь: дивись на мене, держись за мене, а я свое зроблю.

И еще срок назначила:

- Три дня, - говорит, - не пройдет, как сделаю.

Казак сидит день, сидит два, просидел и третий до самого до вечера и думает: «Срок кончился, а щоб мене сто чортиев сразу взяли, як дома скучно... а Пиднебеснихин шинок як раз против моей хаты, из окон в окна: мини звидтиль все видно будет, як кто-нибудь пойдет ко мне в хату, А я тем часом там выпью две-три або четыре четвертки... послухаю, що люди гомонят що в городе чуть... и потанцюю - позабавлюся».

И он пошел – пошел и сел, как думал, у окна, так что ему видно всю свою хату, видно, как огонь горит; видно, как жинка там и сям мотается. Чудесно? И Керасенко сел себе да попивает, а сам все на свою хату посматривает; но откуда ни возьмись сама вдова Пиднебесная заметила эту его проделку, да и ну над ним подтрунивать: эх, мол, такой-сякой ты глупый казак, – чего ты смотришь, – в жизнь того не усмотришь.

– Ну, добре – ще побачим!

– Ничого и бачить, – де за нами, жинками, больше смотрят, там нам, жинкам, сам бис помогае.

– Говори-ка, говори себе, – отвечал казак, – а як я сам на жинку дивитимусь, то коло иі и черт ничего не зробыть.

Тут все и закивали головами.

– Ах, нехорошо так, Керасенко, ах, нехорошо! – или ты некрещеный человек, или ты до того осатанел, что и в самого беса не веруешь.

И все этим так возмутились, что даже кто-то из толпы крикнул:

– Да що еще на него смотреть: дать ему такого прочухана, щоб він тричі перевернувся и на добру виру став.

И его действительно чуть не побили, к чему, как он заметил, особенное стремление имел какой-то чужой человек, о котором Керасенку вдруг ни с того ни с сего вздумалось, что это не кто иной, как тот самый рогачевский дворянин, который подарил его жене склянку с чертом и из-за которого у них с женою перед самою свадьбою было объяснение, окончившееся условием, чтобы об этом человеке больше уже не разговаривать.

Условие было заключено страшной клятвой, что если Керасенко хоть раз вспомнит про дворянина, то будет он тогда за это у черта в зубах. И Керасенко это условие помнил. Но только теперь он был пьян и не мог снести своего замешательства: зачем тут явился рогачевский дворянин? И он поспешил домой, но дома не застал жены, и это ему показалось еще несообразнее.

«Не вспоминать-то, – думал он, – это точно мы условились о нем не вспоминать, а на что же он тут вертится, – и зачем моей жены дома нет?»

И когда Керасенко находился в таких размышлениях, ему вдруг показалось, что у него в сенях за дверью кто-то поцеловался. Он встрепенулся и стал прислушиваться... слышит еще поцелуй и еще, и шепот, и опять поцелуй. И все как раз у самой у двери...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<https://www.litres.ru/nikolay-leskov/nekreschenyy-pop/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банк

Купить: <https://tellnovel.com/nikolay-leskov/nekreschenyy-pop>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)